

# Глава VIII. Бакунин и Нечаев

“ Бакунин тяготит массой, юной страстью, бестолковой мудростью. Нечаев, как абсент, крепко бьет в голову.

А. Герцен

Нечаевщина... слово страшное, неприятное, вызывающее омерзение. Ложь, мистификация, провокация, предательство, убийства, совершенные во имя великой цели, или иезуитизм, поставленный на службу революции, — все это нечаевщина. Как могло возникнуть такое в русской революционной среде и как Бакунин, такой, каким мы уже знаем его, мог оказаться причастным к ней?

Вопрос этот вот уже сто лет волнует писателей, историков, социологов. Историки исследуют факты, писатели пытаются заглянуть в душу революционного подполья, за протоколами допросов, судебными отчетами, исследованиями ученых увидеть духовный мир, психологию действующих лиц реальной исторической трагедии.

Роман Достоевского «Бесы» посвящен нечаевщине. При всей тенденциозности писателя, при всей гротескности изображения именно ему удалось глубже всех проникнуть в мятущуюся душу человека, взявшегося освобождать других, прежде чем стать внутренне свободным самому. Петр Верховенский связан всем: и своим представлением о том, что все позволено, и своим полным неуважением ко всему живому, и своей верой в необходимость создания этакого идола, предводителя Ивана-царевича, за которым пойдет, не может не пойти народ, ибо без «деспотизма еще не было ни свободы, ни равенства».[375]

Прототип Петра Верховенского — Сергей Нечаев. Но прототип не портрет. «Лицо моего Нечаева, конечно, не похоже на лицо настоящего Нечаева», — напишет Достоевский в своем дневнике. Да и не эту задачу ставил он себе. Просто почудилась ему страшная опасность, о которой решил он предупредить людей.

Но обратимся к Нечаеву подлинному.

В 1868 году в студенческих кружках Петербурга стал появляться вольнослушатель Петербургского университета Сергей Геннадиевич Нечаев. Был он сыном мещанина из Иваново-Вознесенска. Юность его протекала нелегко. На жизнь зарабатывал тем, что писал вывески для ивановских купцов. 19 лет приехал в столицу, здесь, сдав экзамены на звание

народного учителя, обосновался сначала в Андреевском, а затем Сергиевском народном училище. Став вольнослушателем университета, он почти не посещал лекций, да и читал в общем немного и как-то односторонне. Так, в «Колоколе», старые номера которого он доставал у товарищей, его интересовало лишь то, что он мог прочесть там о каракозовском деле.

В кружке Медико-хирургической академии он принимал участие в совместном чтении Луи Блана, Карлейля, Рошфора, Буонарроти. Известно также, что читал он «Исповедь» Руссо и «Речи» Робеспьера. Но и прочитанное можно воспринимать по-разному. Нечаев воспринимал все чисто утилитарно, отбирая то, что подходило ему, остальное просто отбрасывал. Импонировали же ему из всего прочитанного главным образом идеи заговора, оправданности террора, по-своему понятого равенства, диктатуры. Впрочем, и эти идеи восприняты им были крайне смутно, никакой продуманной системы взглядов он не приобрел ни в те, ни в последующие годы. Не стал он и интеллигентом в полном смысле этого слова. «Нечаев, — пишет Вера Засулич, — не был продуктом нашего мира, он не был продуктом интеллигенции, среди нас он был чужим».[376]

«Не взгляды, вынесенные им из соприкосновения с этой средой, — продолжает она в другом месте, — были подкладкой его революционной энергии, а жгучая ненависть и не против правительства только... а против всего общества, всех образованных слоев, всех этих баричей, богатых и бедных, консервативных, либеральных и радикальных. Даже к завлеченной им молодежи он если и не чувствовал ненависти, то, во всяком случае, не питал к ней ни малейшей симпатии, ни тени жалости и много и много презрения».[377]

Не чувствуя себя связанным со средой, в которой он очутился, презирая окружающих и встречая к тому же противоречия с их стороны, он с первых же шагов вступил на путь лжи, мистификации, шантажа.

К тому времени, когда Нечаев появился в кружках Петербурга, студенческое движение было одним из серьезных факторов освободительной борьбы.

В условиях реакции второй половины 60-х годов проблемы форм борьбы с правительством, отношения к народу, к обществу, к товарищам по борьбе настоятельно требовали ответа. Готовых решений здесь не было. На многочисленных сходках порой рождались и быстро гибли проекты различных программ. В этой обстановке, войдя в студенческую среду, Нечаев получил известную популярность. Сама личность этого человека не могла остаться незамеченной.

Он обладал железной волей, фанатизмом, непреклонной верой в свою правоту, в правильность избранного им пути. Его мысли, чувства, желания, стремления сводились к одному — до конца разрушить «этот поганый строй».

Можно привести его характеристику, данную на следствии В. Александровской, хорошо знавшей Нечаева и предложившей свои услуги III отделению для организации его ареста.

«Он смел и остроумен, но не всегда осторожен, смел до дерзости. Деспот весьма односторонний. Хитер и подозрителен, но не глубок и односторонне легковерен.

Непреклонной воли, но с неверным соображением. Деятелен до изнурения. Общечеловеческих мирных стремлений или слабостей никаких не проявляет, кроме слепой самоуверенности. Как понимание людей, так и всего окружающего у него односторонне. Так, например, он убежден, что большая часть людей, если их ставить в безвыходное положение, то у них, невзирая на их организацию и воспитание, непременно выработается отважность в силу крайней в том потребности... Делом своего общества, по-видимому, он весь поглощен; других интересов для него не существует... Излишков себе никаких не позволяет».[378]

«Нечаев, — говорил его товарищ В. Орлов, — личность, способная импонировать всякому развитию слабого характера».

Один из обладателей подобного характера, Н. Н. Николаев, показал, что «совершенно подчинялся Нечаеву, которому вообще все повиновалось беспрекословно».[379]

Все знавшие Нечаева сходились на том, что у этого человека всегда на первом плане стояли интересы уничтожения существующего строя, по-своему понятые интересы народа. Люди, не умевшие отрешиться от своих личных дел и чувств во имя революции, чествовали известную неловкость, общаясь с ним.

«Мне стыдно было сознавать, — вспоминает А. И. Успенская, — что у меня есть личная жизнь, личные интересы. У него же ничего не было — ни семьи, ни личных привязанностей, ни своего угла, никакого решительно имущества, хотя бы такого же скудного, как у нас, не было даже своего имени; звали его тогда не Сергеем Геннадиевичем, а Иваном Петровичем».[380]

Мысль Нечаева о возможности расширить студенческое движение до всеобъемлющего протеста против социально-экономического и политического угнетения, двинуть разночинную интеллигенцию в народ и взбунтовать его нашла воплощение в «Программе революционных действий», составленной зимой 1868/69 года группой лиц с участием Нечаева и П. Н. Ткачева.

Но «Программа» эта не была еще проявлением того, что вошло в историю под названием «нечаевщина». Однако есть основания полагать, что и эти идеалы были в основном сформулированы Нечаевым примерно в то же время (1868).

Вот что рассказывает Г. Е. Енишерлов — участник студенческого движения, приписывающий себе приоритет в создании иезуитской системы. Однажды на одной из сходов споры разгорелись вокруг предложенных Енишерловым «заговоров», «военного *coups d'état*»), „всякого рода покушения на личности“, „иезуитского пути“. „Только один, — пишет Енишерлов, — худой, с озлобленным лицом и сжатым судорогой ртом, безбородый юноша, горячо пожав мне руку, сказал: „Я с вами навсегда, прямым путем ничего не поделаешь: руки свяжут... Именно иезуитчины-то нам до сих пор и недоставало; спасибо, вы додумались и сказали. Я ваш“.

Это был тогда еще вовсе неизвестный народный учитель Сергей Геннадиевич Нечаев».[381]

В марте 1869 года, когда Бакунин был озабочен созданием секций „Альянса“ и когда ввиду распада „Интернационального братства“ он на какое-то время потерял часть своих сторонников, в Женеве появился Нечаев. Мы не знаем, в какой обстановке произошла их первая встреча, но бесспорно одно: Нечаев сразу же понравился Бакунину. Сергей Геннадиевич держался сдержанно и вместе с тем уверенно. Он заявил, что явился как представитель революционного комитета, что за спиной его стоит организация в России, что сам он был арестован, заключен в Петропавловскую крепость и бежал оттуда.

Миф этот с недоверием был встречен русскими эмигрантами, хорошо знавшими, что никакой серьезной организации в России нет и что побег из Петропавловской крепости дело нереальное. Однако оба эти обстоятельства не смутили Бакунина. Русскую жизнь он, по существу, не знал, в отношениях же с людьми чаще всего был легковверен. Обычно он верил в то, во что хотел верить. В сложившейся ситуации ему очень хотелось поверить в возможность существования в России тайной организации, которую можно было бы использовать в своих целях. „Я был уверен, что мне удастся провести через Нечаева и его товарищей наши идеи и наш взгляд на вещи в России, а также думал серьезно, что Нечаев способен будет стать во главе русской ветви революционного союза моего“[382] — так говорил впоследствии он своим друзьям.

„Я сказал себе и Огареву, что нам ждать нечего другого человека, что мы оба стары, и что нам вряд ли удастся встретить другого подобного, более призванного и более способного, чем Вы, — напишет он потом Нечаеву, — что поэтому, если мы хотим связаться с русским делом, мы должны связаться с Вами, а не с кем другим“.[383]

Это все соображения деловые, но были здесь и другие моменты — эмоциональные. В глубине души мечтал он всегда об организации революционеров, обладающих теми качествами, которые он увидел в Нечаеве. Железная воля, убежденность, полная самоотверженность, отсутствие всех личных побуждений, чувств, стремлений, исключительная преданность революции. Все, кого он встречал до этого, не отвечали в конечном итоге этим требованиям. Или честолюбие и тщеславие, или недостаточная убежденность, или личная жизнь отвлекали его прежних соратников от главного революционного дела.

С Нечаевым было иначе. Он увлек Бакунина „своим темпераментом, — вспоминает З. Ралли, — непреклонностью своей воли и преданностью революционному делу. Конечно, Бакунин сразу увидел и те крупные недостатки и отсутствие какой-либо эрудиции в новом эмигранте, но как Михаил Александрович, так и все те, которые встречались в те времена с Нечаевым, прощали ему все ради той железной воли, которой он обладал“.[385] Не все, конечно, здесь Ралли не прав, но Бакунин действительно прощал. Он не только увлекся Нечаевым, как много раз в своей жизни увлекался самыми разными людьми (например, Н. Н. Муравьевым-Амурским), — он просто полюбил его. Ибо любовь к людям, не абстрактная, а самая конкретная, была вполне свойственна ему. „Я Вас любил глубоко и Вас люблю до сих пор, Нечаев, я горячо верил, слишком верил в Вас!“ — напишет он ему тогда, когда для любви, а тем более веры не останется уже никаких оснований. „Немного мне было нужно времени, чтобы понять Вашу серьезность, чтобы поверить Вам. Я убедился и до сих пор остаюсь убежденным, что, будь Вас таких хоть немного, Вы представляете серьезное дело,

единственное серьезное револю[384] в России, и, раз убедившись в этом, сказал себе, что моя обязанность помочь Вам всеми силами и средствами и связаться сколько могу с Вашим русским делом“.[386]

Не помог, видно, Бакунину опыт с „Землей и Волей“.

Снова, как прежде, но еще с большей страстью, уверовал он в возможность „русского дела“.

„Сейчас я по горло занят событиями в России, — пишет он Гильому. — Наша молодежь в теоретическом и практическом отношении, пожалуй, самая революционная в мире, сильно волнуется... У меня теперь находится один такой образец этих юных фанатиков, которые не знают сомнений, ничего не боятся и принципиально решили, что много, много их погибнет от руки правительства, но что они не успокоятся до тех пор, пока не восстанет народ. Они прелестны, эти юные фанатики, верующие без бога и герои без фраз“.[387]

„Юный фанатик“ смог уверить Бакунина и в том, что почва для восстания уже готова в России. Вырубов рассказывает, как он однажды, зайдя к Бакунину, застал его за беседой с Мадзини, причем Михаил Александрович уверял своего собеседника, что русская революция начнется очень скоро.

„На Волге, — говорил он, — бунты происходят через каждые сто лет: в 1667 г. — Разин, в 1773 — Пугачев, и теперь, как мне достоверно известно, революционный вопрос стоит там на очереди. Раскольники волнуются, к ним присоединяются рабочие массы, калмыки и киргизы тоже выражают свое недовольство — словом, готовится всеобщее восстание“.

Я было попытался убедить его, что сведения его почерпнуты из мутных источников, что, вернувшись недавно из своего саратовского имения, я могу его уверить, что на Волге все тихо и мирно и никто там ни о какой революции не помышляет, убедить его, однако, я не мог; разыгравшуюся его фантазию укротить было не легко».[388] Конечно, ни «доктринер» Вырубов, ни старый друг Герцен, с настороженностью отнесшийся к Нечаеву, ни в чем не могли убедить Бакунина. Огарев же полностью разделял его увлечение и надежды и должен был впоследствии, так же как Бакунин, нести моральную ответственность за всю эту эпопею. Однако общественное мнение оставило его в стороне, обрушив все негодование лишь на одного из двух виновных.

Итак, Бакунин и Огарев полностью приняли как Нечаева, так и его вымышленную организацию. Однако сразу раскрывать перед Нечаевым все карты своего «Альянса» Бакунин не захотел. Он лишь сообщил ему, что существует некий «Европейский революционный союз», от имени которого 12 мая 1869 года он выдал Нечаеву следующий документ: «Податель сего есть один из доверенных представителей русского отдела Всемирного революционного союза, 2771». Далее следовала подпись Бакунина и печать со словами: «Европейский революционный союз, Главный комитет».

Так в ответ на легенду Нечаева о существовании русского революционного комитета появилась еще одна легенда о несуществующей организации европейского масштаба.

Возможно, что, творя легенду о Европейском комитете, Бакунин стремился создать впечатление в России (куда должен был направиться Нечаев) о представительстве этим комитетом интересов Интернационала.

«Альянс» был никому не известен, а следовательно, представитель его не мог произвести должного эффекта на русскую молодежь. Слухи же об Интернационале и его деятельности дошли и до России, вызвав энтузиазм среди учащейся молодежи. Естественно, что посланец Бакунина с мандатом от Европейского комитета мог сойти за представителя того самого Международного общества, о котором мало конкретного знали в Москве и Петербурге. Но одного мандата для успешной пропаганды Нечаева в России было мало. Для успеха дела нужно было снабдить нового адепта программными документами, средствами и, наконец, создать ему репутацию стойкого борца, связанного с европейским революционным движением. Последней цели служила легенда о Европейском комитете. Средства были добыты путем передачи Нечаеву Бахметьевского фонда.

Эти деньги в 1858 году молодой помещик П. А. Бахметьев[389] передал Герцену на нужды русской революционной пропаганды. Вся сумма была положена в банк на имя Герцена и Огарева и до 1869 года оставалась неприкосновенной, вызывая постоянные претензии от разных групп русской эмиграции, стремившихся использовать ее на то или иное дело. Не питая никакого доверия ни к Нечаеву, ни к его идеям, Герцен был против передачи ему этих денег. Но Огарев потребовал раздела фонда и выдачи своей половины Нечаеву.

Не стало дело и за программным обеспечением. С марта по август 1869 года появился ряд листовок, брошюр, статей, призывавших к немедленной революции, объяснявших цели и задачи ее.

Среди этих произведений прокламация «Русские студенты!» без подписи (автор Огарев);[390] прокламация «Студентам университета, Академии и Технологического института в Петербурге» (подпись «Нечаев»); прокламация «Несколько слов к молодым братьям в России» (подпись «Бакунин»); брошюра «Начало революции» (без подписи); брошюра «Постановка революционного вопроса» (без подписи); две статьи в № 1 «Издания Общества Народной расправы» (подпись «Русский революционный комитет»); «Катехизис революционера» (без подписи) и другие.

Обращаясь к молодежи в прокламации «...К молодым братьям», Бакунин провозглашал: «Ступайте в народ! Там ваше поприще, ваша жизнь, ваша наука... Не хлопчите о науке, во имя которой хотели бы вас связать и обессилить. Эта наука должна погибнуть вместе с миром, которого она есть выразитель. Наука же новая и живая, несомненно, народится потом, после народной победы, из освобожденной жизни народа».[391]

В брошюре «Постановка революционного вопроса», хотя и не подписанной, но принадлежащей перу Бакунина, вопрос о поведении молодежи в народе развивается более конкретно. В народ следует идти затем, чтобы, приняв участие в народных бунтах, объединить их разрозненные силы.

Народный бунт в России существует в двух видах: бунт мирного сельского населения и разбойный бунт. «Разбой — одна из почетнейших форм русской народной жизни. Он был со времени основания московского государства отчаянным протестом народа против гнусного общественного порядка... Разбойник — это герой, защитник, мститель народный, непримиримый враг государства и всего общественного и гражданского строя, установленного государством...»[392]

В подобной апологии разбойного мира сказалось не столько некоторое влияние западных утопистов (Вейтлинг, Пизакане), сколько исповедуемый Бакуниным своеобразный культ народа, преклонение перед «бессознательным» и стихийным в его жизни. Поскольку «разбойный мир» традиционно представлялся наиболее активным, наиболее бунтарским отрядом всех народных сил, Бакунин стал отождествлять стремление к разрушению с революционностью. И если не идеальные разбойники типа Карла Моора, то по крайней мере вольные разбойные артели времени Степана Разина стали казаться ему действенной революционной силой.

Год спустя в письме к Нечаеву Бакунин попытался обосновать идею использования «разбойного мира» с точки зрения морально-этической. «Да кто же у нас не разбойник и не вор? — уж не правительство ли? Или наши казенные и частные спекуляторы и дельцы? Или наши помещики, наши купцы? Я, со своей стороны, ни разбоя, ни воровства, ни вообще никакого противучеловеческого насилия не терплю, но признаюсь, что если мне приходится выбирать между разбойничеством и воровством восседающих на престоле или пользующихся всеми привилегиями и народным воровством и разбоем, то я без малейшего колебания принимаю сторону последнего, нахожу его естественным, необходимым и даже в некотором смысле законным».[393]

Брошюру «Начало революции» многие исследователи считали принадлежащей перу Бакунина. Основанием для подобного утверждения для Ю. Стеклова было сходство ее идей о тайной организации с программными требованиями «Интернационального братства»; для М. Конфино — сходство этого же места брошюры с последующим письмом (от 2 июня 1870 года) Бакунина Нечаеву. Чтобы не возвращаться к этому аргументу далее, следует сказать, что подобные сопоставления лишены, с нашей точки зрения, оснований. Бесспорно, что Бакунин познакомил Нечаева со своими программными документами и что последний многое из них взял на вооружение. Ведь своей-то программы у него, по существу, не было. Однако определенные идеи были. И идеи эти были именно его, а никак не Бакунина. В брошюре подобных идей две: террор и допустимость любых средств для достижения революционной цели.

Из предыдущей главы мы знаем, как отнесся Бакунин к выстрелу Каракозова. Здесь же читаем иное: «Дела, инициативу которых положил Каракозов, Березовский и проч., должны перейти, постоянно учащаясь и увеличиваясь, в деяние коллективных масс, вроде деяний товарищей шиллерова Карла Моора с исключением только его идеализма, который мешал действовать как следует, с заменой его суровой, холодной, беспощадной последовательностью».

Итак, террор и разрушения — в этом задачи начала революции. «Данное поколение должно начать настоящую революцию... должно разрушить все существующее сплеча, без разбора, с единым соображением „скорее и больше“. Формы разрушения могут быть различны. „Яд, нож, петля и т. п.!.. Революция все равно освящает в этой борьбе... Это назовут терроризмом! Этому дадут громкую кличку! Пусть! Нам все равно!“»[394]

Этот дикий манифест можно сравнить лишь с бредовыми планами Петра Верховенского: «Мы провозгласим разрушение... Мы пустим пожары... мы пустим легенды. Я вам... таких охотников отыщу, что на всякий выстрел пойдут, да еще за честь благодарны останутся. Ну, с, и начнется смута! Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал...»[395] Но где же здесь идеи Бакунина? На наш взгляд, их тут нет. Ни террор как таковой, ни формы его («яд, петля, кинжал») никогда не входили в арсенал старого революционера. Зато Нечаеву они были органически свойственны. Их же он снова и подробно представил в первом номере «Издания Общества Народной расправы», где даже перечислил высших, богатых и должностных лиц, подлежащих истреблению. Этому изданию нельзя отказать в известной выразительности. Образность и пафос ненависти тут налицо. «Мы из народа, со шкурой, прохваченной зубами современного устройства, руководимые ненавистью ко всему ненародному, не имеющие понятия о нравственных обязанностях и чести по отношению к тому миру, который ненавидим и от которого ничего не ждем, кроме зла».[396]

Отрицание «нравственных обязанностей и чести» (давшее повод Достоевскому написать злую фразу «...Вся суть русской революционной идеи заключается в отрицании чести...»[397]) распространялось Нечаевым не только на ненавидимый им господствующий мир, но на всех людей вообще. Доказательство тому — «Катехизис революционера», эта квинтэссенция того, что принято называть нечаевщиной.

В литературе до сего времени ведутся споры о том, кому принадлежит авторство «Катехизиса». Анализ источников, в том числе и неизвестных предыдущим исследователям, позволил мне прийти к выводу о том, что Бакунин не является автором этого документа.[398]

Для того чтобы представить себе разность позиции Бакунина и Нечаева в вопросах методов борьбы, отношения к делу, к товарищам и противникам, достаточно сопоставить «Катехизис» с уставом «Интернационального братства» и другими программными документами, которые незадолго до того редактировал и дополнял Бакунин в связи с созданием «Альянса», а также с его письмом Нечаеву от 2 июля 1870 года.

«Катехизис» — это свод правил, ими должен руководствоваться революционер. Предоставим первое слово Нечаеву.

Отношение революционера к самому себе — таков первый раздел «Катехизиса».

Полное отречение от всех форм личной и общественной жизни, презрение к общественному мнению, ненависть к общественной нравственности. «Нравственно все, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что мешает ему».[399]

Отношение к товарищам:



«Мера дружбы, преданности и прочих обязанностей в отношении к... товарищу определяется единственно степенью полезности в деле всеразрушительной практической революции». Товарищи не все равны. У каждого посвященного «должно быть под рукой несколько революционеров второго и третьего разрядов, т. е. не совсем посвященных», на которых он должен смотреть как на часть «революционного капитала, отданного в его распоряжение».

Отношение революционера к обществу:

«Революционер живет в обществе, имея целью лишь его беспощадное разрушение». Имея в виду эту конечную цель, он должен притворяться для того, чтобы проникать всюду, во все слои: «высшие и средние, в купеческую лавку, в церковь, в барский дом, в мир бюрократический, военный, в литературу, в Третье отделение и даже в Зимний дворец».

Все общество должно быть разделено на несколько категорий;

«Первая категория — неотлагаемо осужденных на смерть. Да будет составлен товариществом список таких осужденных по порядку их относительной зловредности для успеха революционного дела, так чтобы предыдущие нумера убрались прежде последующих...

Вторая категория должна состоять именно из тех людей, которым даруют только временно жизнь, дабы они рядом зверских поступков довели народ до неотвратимого бунта...

К третьей категории принадлежит множество высокопоставленных скотов или личностей, не отличающихся ни особенным умом и энергией, но пользующихся по положению богатством, связями, влиянием и силой. Надо их эксплуатировать всевозможными манерами и путями, опутать их, сбить их с толку и, овладев по возможности их грязными тайнами, сделать их своими рабами.

Четвертая категория состоит из государственных честолюбцев и либералов с разными оттенками. С ними можно конспирировать по их программе, делая вид, что слепо следуешь за ними, а между тем прибирать их в руки, овладеть всеми их тайнами, скомпрометировать их донельзя, так чтобы возврат был для них невозможен, и их руками мутить государство.

Пятая категория — доктринеры, конспираторы и революционеры в праздноглаголющих кружках и на бумаге. Их надо беспрестанно толкать и тянуть вперед, в практичные головоломные заявления, результатом которых будет бесследная гибель большинства и настоящая революционная выработка немногих».

Предоставим теперь слово Бакунину.

Отношение революционера к самому себе:

«Интернациональные братья не имеют иного отечества, кроме всемирной революции, иной чужбины и иного врага, кроме реакции»[400] — это из устава. Но преданность революции, признание ее отечеством не означает еще полнейшего отречения от себя.

«Помните, как Вы сердились на меня, когда я называл Вас абреком, а ваш катехизис — катехизисом абреков, — скажет Бакунин Нечаеву спустя несколько месяцев. — Вы говорили, что все люди должны быть такими, что полнейшее отречение от себя, от всех личных требований, удовлетворений, чувств, привязанностей и связей должно быть нормальным, естественным, ежедневным состоянием всех людей без исключения. Ваше собственное самоотверженное изуверство, ваш собственный истинно высокий фанатизм Вы хотели бы, да еще и теперь (хотите), сделать правилом общежития. Вы хотите нелепости, невозможности, полнейшего отрицания природы человека и общества. Такое хотение губительно, потому что оно заставляет Вас тратить ваши силы понапрасну и стрелять всегда мимо. Но никакой человек, как бы он ни был силен лично, и никакое общество, как бы совершенна ни была его дисциплина и как могуча ни была его организация, никогда не будут в силах победить природу. Да, мой милый друг, Вы не материалист, как мы грешные, а идеалист, пророк, как монах Революции, вашим героем должен быть не Бабеф и даже не Марат, а какой-нибудь Савонарола, Вы по образу мыслей подходите больше... к иезуитам, чем к нам».[401]

Отношение к товарищам по борьбе:

«Каждый должен быть священным для остальных, более священным, чем брат по рождению. Каждый брат должен получать помощь и защиту до пределов возможного» — это опять из устава.

«...Равноправность всех членов и их безусловная, абсолютная солидарность — один за всех, все за одного — с обязанностью для всех и для каждого помогать каждому, поддерживать и спасать каждого до последней возможности, поскольку это будет сделать возможно, не подвергая опасности уничтожение существования самого общества.

...Абсолютная искренность между членами. Изгнание всякого иезуитизма из их отношений, всякого подлого недоверия, коварного контролирования, шпионства и взаимных доносов», — и это из принципов новой организации, предложенной Бакуниным Нечаеву.

Отношение революционера к обществу:

Говорить о прямом сравнении текстов здесь не приходится. У Бакунина нет ни планов на использование современного общества, ни деления его на категории для уничтожения тех или иных лиц, для превращения в рабов или для деморализации общественной жизни. Бакунин против убийств «высокопоставленных скотов» и тем более против массового террора, способного вызвать лишь реакцию, которая снова обрушится на голову народа.

«Не нужно будет удивляться, — пишет он в своей программе, — если в первый момент восставший народ многих... перебьет, это будет, пожалуй, неизбежным злом, столь же фатальным, как и опустошения, причиненные бурей. Но это естественное явление не будет ни нравственным, ни даже полезным».[402] Ведь все жертвы народного негодования сами по себе не виновны.

«Все революционеры, угнетенные, страдающие жертвы современной организации общества, сердца коих, естественно, полны мести и ненависти, должны хорошо помнить,

что короли, угнетатели, эксплуататоры всякого рода столь же виновны, как и преступники, вышедшие из народных масс: они злодеи, но не виновные, так как они, подобно обыкновенным преступникам, являются произвольным продуктом современной организации общества».[403]

Итак, система идей Бакунина противоположна как «Катехизису», так и брошюре «Начало революции». Все это творчество Нечаева. Но можно ли целиком снять ответственность со старого революционера за появление в свет этих произведений?

С нашей точки зрения — нельзя.

И Бакунин и Огарев несут полную моральную ответственность за творчество этого 22-летнего молодого человека, получившего их полную поддержку. Не будь этой поддержки, никто бы, кроме, может, нескольких юношей, не пошел за Нечаевым. Не было бы и резонанса от его деятельности на Западе.

Теперь все сложилось иначе. Создав себе известное положение за границей, Нечаев в августе 1869 года отправился в Россию. Для того чтобы помочь его конспиративной деятельности в русских условиях, Огарев и Бакунин решили распространить слух о его гибели.

Отчасти для этого, отчасти для того, чтобы поднять акции Нечаева среди молодежи, решено было распространить в виде листовки стихотворение Огарева «Студент». В последних строках этого произведения сообщалось:

“ Жизнь он кончил в этом мире  
В снежных каторгах Сибири,  
Но дотла не лицемерен,  
Он борьбе остался верен  
До последнего дыханья.  
Говорил среди изгнанья:  
Отстоять всему народу  
Свою землю и свободу.

— Великолепно! — сказал Бакунин, прочтя стихи.

Герцен реагировал иначе. «Да что же ты Нечаева заживо хоронишь? — с удивлением спрашивал он, — стихи, разумеется, благородны, но того звучного порыва, как бывали твои стихи, caro mio, нет».[404]

«Звучного порыва», пожалуй, действительно не было. Был лишь еще один вклад в пропагандистскую кампанию «тройки», в которой, по мнению Герцена, Огарев был «коренным». Проясняя свое образное выражение, Герцен писал Николаю Платоновичу: «Я... говорил о „психе“ — Бакунину, Нечаеву — на пристяжке и о тебе в корню».[405]

В главном, в оценке в целом всей «тройки», Александр Иванович был прав. Деятельность юноши и «двух старцев считаю положительно вредной и несвоевременной»,[406] — писал он Огареву.

Деятельность эта, особенно пропагандистская, была так вредна, что ограничиться личными письмами было невозможно. Нужна была критика в открытой прессе. Работая над полемическим письмом к Бакунину, Герцен думал поместить его в «Полярной звезде», а если удастся, то и в русской легальной прессе.

«Мне кажется, — писал он Огареву 25 февраля 1869 года, — что если по моему письму к Бакунину (без имени) провести стругом, то его можно целиком поместить в „Неделе“».[407]

Писать статью «Письма к старому товарищу» Герцен начал в январе 1869 года. Работа претерпела несколько редакций, дополнений, углублений. Началась она еще до нечаевской эпопеи и вызвана поначалу была желанием сформулировать свои раздумья о главном вопросе современности, противопоставить свои «оценки сил, средств, времени, исторического материала» взглядам и практике Бакунина.

Когда три письма из четырех были написаны, появилась брошюра Бакунина «Постановка революционного вопроса». Прочтя ее, 11 мая 1869 года Герцен писал Тучковой-Огаревой о том, что Бакунин «...совсем закусил удила». «...Я привезу его новую статью, которая наделает страшных бед. Я буду протестовать и снимаю всякую солидарность».[408]

После этого Герцен принялся за четвертое письмо, которое и было окончено в августе 1869 года. Однако при жизни его работа не успела выйти в свет. Появилась она лишь в «Сборнике посмертных статей Александра Ивановича Герцена» в 1870 году.

Обратимся к содержанию полемики.

“ «Мне всегда мешало раздумье, мы об этом спорили с тобой тридцать лет назад. Тут дело в личностях, в характерах, в плi (складе. — Н.П.) целой жизни. Одни складываются с молодых лет в попы, — проповедующие с катехизисом веры или отрицания в руках, — они призывают себе на помощь все средства и все силы, даже силу чудес, для вящего торжества своей идеи. Другие этого не могут — для них голая, худая, горькая истина дороже декорации, для них ризы, облачения, драматическая часть дела смешна, а смех — ужасная вещь»[409] — так писал Герцен в первой редакции «Писем к старому товарищу».

Пожалуй, он был прав. В значительной мере дело было в личностях, в характере, в складе целой жизни. Но было и другое. Сам Герцен писал о том, что личности являются на исторической арене тогда, когда в них возникает определенная потребность. Для тех социальных сил, на которые ориентировался Бакунин (наиболее отсталые слои рабочего класса, угнетенное крестьянство, деклассированные элементы), была потребность и в

проповеди, готовой призвать себе на помощь даже «силу чудес». Горький скептицизм Герцена не мог помочь тем, кто при жизни своей хотел увидеть зарю нового мира.

Поиски путей, которыми должно идти человечество, составляли смысл и содержание жизни Герцена. Ответа на этот вопрос он не нашел, но исторический опыт и собственные размышления привели его в конце пути к твердому убеждению, что без «знания и понимания» никакой социальный переворот невозможен. «Подорванный порохом, весь мир буржуазный, когда уляжется дым и расчистятся развалины, снова начнет с разными изменениями какой-нибудь буржуазный мир. Потому что он внутри не кончен и потому еще ни мир строящийся, ни новая организация не настолько готовы, чтоб пополниться, осуществиться».[410]

«Наше время», полагал Герцен, время окончательного изучения и собирания сил. Время изучения экономических вопросов, время изучения народного сознания, которое «так, как оно выработалось, представляет естественное, само собой сложившееся, безответственное, сырое произведение разных усилий, попыток, событий, удач и неудач людского сожития, разных институтов и столкновений — его надобно принимать за естественный факт и бороться с ним, как мы боремся со всем бессознательным, — изучая его, овладевая им и направляя его же средства — сообразно нашей цели».

Эти слова Герцена были ответом на одно из главных утверждений Бакунина о том, что учить народ «было бы глупо, ибо он сам лучше знает, что ему надо. Его нужно не учить, а бунтовать или, вернее, объединять его разрозненные и потому бесплодные бунты». Не учить народ, а учиться у народа — эту формулу не раз повторял Бакунин. Именно поэтому Герцен в своих «Письмах» несколько раз возвращается к проблеме народа. Задолго до практического и неудачного опыта сближения интеллигенции с народом[411] он видел, что масса с неверием смотрит «на людей, проповедующих аристократию науки и призывающих к оружию».

«Поп и аристократ, полицейский и купец, хозяин и солдат имеют больше связей с массами, чем они. Оттого-то они и полагают возможным начать экономический переворот с *tabula rasa*, с выжигания дотла всего исторического поля, не догадываясь, что поле это с своими колосьями и плевелами составляет всю непосредственную почву народа, всю его нравственную жизнь, всю его привычку и все утешение...»[412]

«Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри». Нельзя отрицать и государства до совершеннолетия большинства, так отвечал Герцен на призыв Бакунина к беспощадному разрушению всего государственного строя, коренному уничтожению всех порядков, общественных сил, средств, вещей и людей, «на которых зиждется крепость империи», отрицанию науки, «которая должна погибнуть вместе с миром, которого она есть выражение». Здесь Герцен был не точен. Об уничтожении людей речи у Бакунина не было. Но «даже призывы к тому, чтоб закрыть книгу, оставить науку и идти на какой-то бессмысленный бой разрушения — принадлежат к самой неистовой демагогии и к самой вредной... Нет, великие перевороты не делаются разнуздыванием дурных страстей... Бойцы за свободу в серьезных подвиганиях оружия всегда были святы, как воины Кромвеля, — и оттого сильны».

Революция не должна только разрушать. Новый порядок «должен являться не только мечом рубящим, но и силой хранительной». Герцен жалел людей, жалел «вещи, и иные вещи больше иных людей».

«Довольно христианство и исланизм наломали древнего мира, довольно Французская революция наказала статуй, картин, памятников, — нам не приходится играть в иконоборцев. Я это так живо чувствовал, стоя с тупой грустью и чуть не со стыдом... перед каким-нибудь кустодом, указывающим на пустую стену, на разбитое изваяние, на выброшенный гроб, повторяя: „Все это истреблено во время революции“.[413]

Итак, революция не должна уничтожать всего лучшего, созданного за много веков человечеством; она не должна быть бунтом бессмысленным и беспощадным, к ней нельзя призывать, пока нет сил, потому что „подавленный взрыв двинет назад“. Нельзя звать массы к полному социальному перевороту потому также, что нет еще положительной программы „идей строящих“. Ведь одна бакунинская страсть к разрушению не есть еще творческая страсть — так считал Герцен. Вопрос о том, что будет после социального переворота, был главным для него.

Предложенная Бакуниным социальная ликвидация всего старого мира без реальной „строящей“ программы была не только чужда, но и просто враждебна Герцену.

„Аракчееву, — писал он, — было с полгоря вводить свои военно-экономические утопии, имея за себя секущее войско, секущую полицию, императора, Сенат и Синод, да и то ничего не сделал. А за упразднением государства — откуда брать „эзекуцию“, палачей и пуще фискалов — в них будет огромная потребность. Не начать ли новую жизнь с сохранения специального корпуса жандармов? Неужели цивилизация кнутом, освобождение гильотиной составляют вечную необходимость всякого шага вперед?“ Бакунин и не призывал к этому. Его план был еще более утопичен. Вопрос Герцена звучал риторически. Ответа на него он дать не мог.

Свою задачу видел Герцен в пропаганде словом. Он возражал Бакунину и другим, считавшим, что время слова прошло, время дела наступило. „Как будто слово не есть дело? — писал он. Как будто время слова может пройти?“

Расчленение слова с делом возможно лишь тогда, когда все уяснено и понятно и нужно лишь действовать. „Но кто же, кроме наших врагов, готов на бой и силен на дело? Наша сила — в силе мысли, в силе правды, в силе слова, в исторической попутности“.

„Историческую попутность“ Бакунин понимал по-своему. Спор старых товарищей разрешила жизнь. Впрочем, незадолго до смерти Бакунин близко подошел к точке зрения Герцена, но пока он был еще очень далек от нее.

Летом 1869 года, когда Герцен заканчивал свои „Письма к старому товарищу“, а Бакунин писал следующую пропагандистскую брошюру „Наука и насущное революционное дело“, Нечаев появился в Москве.

„Мандат, — пишет Ралли, — данный Бакуниным, а также рекомендация к Любену Каравелову в Бухарест, много послужили Нечаеву. В Москве в особенности этот мандат произвел большое впечатление на Успенского и других“.[414]

Упорно и настойчиво действуя от лица мифического Центрального русского комитета, связанного с Европейским революционным комитетом, он сумел объединить рвущуюся к реальной борьбе молодежь в несколько кружков. Однако иезуитские методы работы: составление взаимных характеристик членов кружка друг на друга, диктаторство Нечаева, наконец, само содержание предлагаемой им программы борьбы — все это не могло надолго удержать в подчинении молодых людей и никак не способствовало созданию той централизованной организации с железной дисциплиной, о которой мечтал Нечаев. Оппозиция к его планам, проявленная студентом Ивановым, кончилась трагически для последнего. Стремясь укрепить свой авторитет диктатора, не допустить ни малейшего отступления от проповедуемых им истин, а также утешить других членов организации и „связать их кровью“, Нечаев в сообществе с Успенским, Кузнецовым, Прыжовым и Николаевым организовал убийство Иванова.

Опубликованное недавно во французском журнале письмо Г. А. Лопатина к Н. А. Герцен (дочери) от 1 августа 1870 года следующим образом повествует об этом событии: „...Я знал, что У[спенск]ий выманил И[вано]ва в лес под приличным предлогом, и я всегда удивлялся, почему, идя с ним рядом, он не выстрелил ему в висок? Для чего тут понадобилось пять человек? Но теперь мне пишут, что, по рассказам участников, они так растерялись, что забыли, что при них есть оружие, и стали бить И[ванова] камнями и кулаками и душить руками; вообще убийство было самое зверское. Когда Иванов был уже мертв, Нечаев вспомнил о револьвере и для большей уверенности выстрелил труп в голову“.[415]

Преступление было обнаружено на четвертый день. Начались аресты, давшие основание к последующему процессу нечаевцев. Процесс этот состоялся летом 1871 года. Отчеты о заседаниях печатались в „Правительственном вестнике“, так как правительство хотело скомпрометировать революционеров в глазах общества. Однако желаемого результата не получилось. Благодаря неожиданной гласности широкая публика узнала многое о причинах, породивших революционное движение. Авантюристическая же и иезуитская тактика Нечаева была повсюду осуждена. В. Н. Фигнер писала, что теория Нечаева „цель оправдывает средства отталкивала нас, а убийство Иванова внушало ужас и отвращение“.[416]

Революционная молодежь, по словам Н. А. Чарушина, извлекла из этого практический урок „ни в каком случае не строить революционную организацию по типу нечаевской, не прибегать для вовлечения в нее к таким приемам, к каким прибегал Нечаев“.[417]

Еще задолго до процесса слухи об арестах в России достигли пределов Швейцарии. Огарев и Бакунин были обеспокоены.

„Желаю и для тебя и для меня вместе, — писал Михаил Александрович Огареву 7 января 1870 года, — чтобы слухи о нашем Бое (Нечаеве) оказались несправедливыми... А жаль других молодцов, кто бы они ни были и к каким бы партиям ни принадлежали, даже к

утинскому курятнику“.

В том же письме рассказывал он об обстоятельствах своей жизни: „Сын наш выздоравливает, но зато Антося того и смотри свалится. Во-первых, страшно устала, день и ночь в продолжение 10 дней таскала на руках до сих пор однородного, а во-вторых, должна не сегодня, так завтра родить. А я прохожу целую науку практической жизни. Перевожу теперь много и скоро, веду огромную переписку, читаю то Прудона, то Конта и задумываю и приступаю к книге об низложении государства и всех государственных порядков... Скучать некогда. Все мое отдохновение состоит в болтовне с Антосей за обедом и чаем и в чтении журналов в сафй“.[418]

Книга, к которой приступал в это время Бакунин, была главной его теоретической работой „Государственность и анархия“. Несколькими днями раньше, 4 января, об этом же он сообщал Герцену. „А я, брат, перевожу экономическую метафизику Маркса... И в редкие свободные минуты пишу книгу-брошюру об упразднении государства“.[419]

Но увы... как перевод „Капитала“, так и работа над книгой были прерваны новым появлением Нечаева.

12 января Бакунин узнал, что Нечаев, благополучно скрывшись от ареста, прибыл теперь в Швейцарию. Когда Бакунин получил это известие, то так „прыгнул от радости, что чуть было не разбил потолка старою головой. К счастью, потолок очень высок... — писал он. — Я сам непременно хочу видеться с Боем, но сам ехать решительно не могу: во-первых, известная вещь — круглое безденежье, при известных Огареву обстоятельствах... а во-вторых, если бы и были деньги, не мог бы в настоящую минуту отлучиться из дома в ожидании с часа на час происшествия, также известного Огареву. Итак, буду ждать нашего Боя, или скорее боевого, сюда. У меня ждут его покров, постель, стол и комната, а также глубочайшая тайна“.[420] Тайна нужна была прежде всего потому, что Нечаев разыскивался полицией как уголовный преступник (именно так расценило следствие убийство Иванова) и на этом основании мог быть арестован и выдан России.

Письмо Бакунин адресовал как Огареву, так и тем женевским друзьям, которые принимали участие в Нечаеве. Это были: Николай Озеров, Семен Серебренников и Наталья Герцен.

Вскоре сам Нечаев пожаловал в Локарно. Держался он теперь иначе, ведь за плечами его уже было „прошлое“. Как он представил его Бакунину — неизвестно, но по крайней мере не так, как было в действительности. Спустя год, когда Бакунин прочел в газетах судебные отчеты по делу нечаевцев и „подвиги“ Сергея Геннадиевича стали очевидны, он записал в своем дневнике 1 августа 1871 года: „Процесс Нечаева. Какой мерзавец!“ Но пока Бакунин еще безусловно верил всему и прежде всего обновленной легенде о бюро Центрального революционного комитета, существующем в России и руководящем всем движением.

Первое, что хотел Нечаев от Бакунина, была публичная поддержка его деятельности и организация защиты общественностью от угрозы быть выданным царскому правительству. „Наш Бой совсем завертел меня своей работой, — сообщал Бакунин Огареву 8 февраля 1870 года. — Сегодня по его требованию... написал наскоро статью о полицейских услугах,



оказываемых иностранными правительствами русскому в деле разыскивания мнимых разбойников“.[421]

Но, конечно, планы Нечаева в отношении Бакунина не исчерпывались одной статьей. Ему по-прежнему нужны были авторитет, влияние, связи и колоссальная энергия Бакунина, по-прежнему нужны были деньги и издательские возможности.

Центром „русской агитации“ решено было сделать Цюрих, где находилось немало русских студентов. Там же, по мысли Нечаева и Огарева, следовало начать издание нового „Колокола“, к которому ради традиции и средств должна была быть привлечена Наталья Александровна Герцен.

Бакунин же по настоянию Нечаева, выступавшего от лица мифического бюро, должен был целиком переключиться на русскую пропаганду.

Переезд в Цюрих, прекращение работы, дававшей ему средства к жизни, и, главное, содержание семьи были чрезвычайно тяжелы для Михаила Александровича. Но Нечаев настаивал — „Русское дело“, в которое поверил Бакунин, требовало его участия.

„Я сказал откровенно условия, на которых могу весь отдаться делу. Победил ложный стыд и сказал все, что должен был сказать. Они были бы глупы, если бы не согласились на них, и бессильны и неспособны, если б не нашли средств к исполнению всех условий, необходимых для дела“.[422]

Условия прежде всего были материальные, так как о программных разногласиях вопрос стал лишь спустя некоторое время. „...Ясно, что для того, чтобы предать себя полному служению делу, я должен иметь средства для жизни... К тому же у меня жена, дети, которых я не могу обречь на голодную смерть; я старался уменьшать донельзя издержки, но все-таки без известной суммы в месяц существовать не могу. Откуда же взять эту сумму, если я весь труд свой отдам общему делу“.[423]

Удовлетворить скромные требования Бакунина Нечаев взялся с легкостью. Ему ничего не стоило пообещать Михаилу Александровичу средства, необходимые для жизни, а заодно и избавить его от работы над переводом „Капитала“. Как улаживал это последнее дело Нечаев, Бакунин узнал позднее, а пока он удовлетворился лишь его обещанием о том, что комитет все берет на себя.

Нечаев же от имени бюро комитета направил Любавину следующее письмо:

„До сведения комитета дошло, что некоторые из живущих за границей русских баричей, либеральных дилетантов начинают эксплуатировать силы и знания людей известного направления... Между прочим, некий Любавин... завербовал известного Бакунина для работы над переводом книги Маркса и, как истинный кулак-буржуй, пользуясь его финансовой безвыходностью, дал ему задаток и в силу оного взял обязательство не оставлять работу до окончания... Комитет предписывает заграничному бюро объявить Любавину: 1) что если он и подобные ему тунеядцы считают перевод Маркса в данное время полезным для России, то пусть посвящают на оный свои собственные силенки... что он

(Любавин) немедленно уведомит Б-на, что освобождает его от всякого нравственного обязательства продолжать перевод, вследствие требования революционного комитета“.

Далее в письме в угрожающем тоне излагались требования немедленно снять с Бакунина все нравственные и материальные обязательства, связанные с работой.[424]

Обещая Бакунину разрешить его материальные трудности, Нечаев сослался на некоего помещика Н., который продает свое имение для того, чтобы вырученную сумму передать комитету. Однако помещика такого в природе не существовало. Деньги же были нужны не только на жизнь, а главным образом на развертывание новой пропагандистской кампании. Для этого Бакунин помог Нечаеву получить вторую часть Бахметьевского фонда.

Будь жив Герцен, он бы воспрепятствовал этому. Но Александр Иванович умер 21 января 1870 года.

„Огарев! Неужели это правда? Неужели он умер? — писал тогда Бакунин. — Бедный ты! Бедные Natalie обе! Бедная Лиза! Друг, на наше несчастье слов нет. Разве только одно слово: умрем в деле. Если можешь, напиши хоть одно слово.

Твой теперь единственный старый друг М. Б.“.[425]

У старшей дочери Герцена Натальи Александровны — Таты, как звали ее близкие, — было тяжелое нервное заболевание. Ее состояние, сильно тревожившее отца, возможно, способствовало быстрому течению его собственной болезни. Тата была светлым, чистым, прекрасным человеком. Александр Иванович и все его друзья связывали именно с ней надежды на возможность продолжения его дела. После смерти Герцена близкие, а главным образом брат Александр Александрович и мачеха Наталья Алексеевна Тучкова-Огарева, окружили ее заботой и вниманием, так как была она еще очень слаба.

В начале февраля Наталья Александровна приехала в Женеву к старым друзьям Тхоржевским и Огареву. Вот здесь-то она и познакомилась с Нечаевым, загоревшимся идеей использовать через нее средства Бахметьевского фонда, втянуть ее в революционные конспирации и прежде всего в издание „Колокола“.

Бакунин, со своей стороны, приложил все усилия как к передаче фонда, так и к тому, чтобы приблизить Тату к „русскому делу“.

Причем в хлопотах о Тате Бакунин руководствовался не только соображениями о пользе делу, но и теплым, дружеским отношением к ней. В письмах к Огареву, называя ее его дочерью, Михаил Александрович говорил: „...Свою старшую дочь ты должен и ты только один можешь спасти. Будет ли она потом в состоянии, сохранит ли охоту заниматься русским делом, — это увидится впоследствии. Насиловать и натягивать ее мысль, ее волю... во имя абстрактного патриотического дела, в ущерб ее здоровью и счастью, ты, разумеется, не станешь — это не в твоём характере. ...Неужели бедной и милой Тате не должно быть лучшего исхода в жизни, как сделаться нянькой детей Александра Александровича или компаньонкою Натальи Алексеевны?“[426]

В отношении фонда Бакунин был еще более настойчив, и в результате его и Огарева хлопот вторая часть денег была передана Нечаеву.

Тата, уехав на некоторое время из Женевы, в конце февраля снова вернулась туда и в какой-то мере вошла в курс конспирации Бакунина — Огарева — Нечаева.

Однако отношения с последним осложнились неожиданными обстоятельствами. Нечаев влюбился в Наталью Александровну. Письма его, в которых освещается короткая история этого неудачного романа, опубликованы недавно в Париже Т. Бакуниной и Ж. Катто.[427]

Автор вступительной статьи Татьяна Алексеевна Бакунина (внучатая племянница Михаила Александровича) считает, что со стороны Нечаева было лишь желание любой ценой и любыми средствами использовать имя и деньги Таты.

Мне кажется, что это не так.

Да, интересы дела всегда были на первом плане для этого неугомонного фанатика. Но в данном случае возникшее вдруг чувство ничуть не мешало этому делу. Да и что неестественного могло быть в увлечении 23-летнего молодого человека красивой, умной девушкой? В другой ситуации этот роман ни у кого бы не вызвал удивления, но здесь Нечаев — иезуит, фанатик, страшный, беспринципный человек... И все же письма его, вносящие новую черту в привычный уже образ, дают возможность предположить, что чувство его было искренним.

Уже в начале марта после нескольких встреч Нечаев объяснился Тате и узнал, что не может рассчитывать на взаимность. 20 марта не в первый раз Тата писала ему: „Итак, чтобы не вышло недоразумения, не забывайте, что, как только я поняла, что, кроме дела, Вы спрашиваете тоже о личных отношениях, я Вам сейчас же дала отрицательный ответ и несколько раз повторяла... Ну и опять говорю Вам, что нет, не люблю“.

Но Нечаев не потерял еще надежды. Вынужденный в мае уехать из соображений конспирации в горы, он продолжал писать ей непривычно для него длинные послания.

26 мая. „Писать к вам становится трудной, хотя и любимой задачей. Вы хорошо знаете, почему я не могу говорить с вами обиняками, почему не могу скрыть того, что думаю, и почему не в силах сдержать ту горячность (по-вашему, грубость), что выходит прямо из души...“

27 мая. „Писем от вас нет. Ждал вчера и жду сегодня, понимаете, с каким нетерпением. Скука здесь страшная. Место, в котором я обитаю, называется одним из прекраснейших в стране; и в самом деле, здесь совмещены все возможные, так называемые, красоты природы. Для поэта, для художника здесь, я думаю, раздолье. Для меня мука: сколько я ни заставлял себя восхищаться закатами и восходами солнца, ничего не выходит. Все кажется глупо, бессмысленно. Кругом горы, леса, ручьи, долины, овраги и прочие „прелести“ природы, которыми я не умею наслаждаться и которые только тоску на душу наводят, да еще какую тоску! Из головы не выходите вы! Что-то думает она теперь? Что у нее в голове? Что будет отвечать? Припоминаю все наши разговоры и чем более вдумываюсь в них, тем

более и более недоволен собой. Да, я был слишком крут, слишком резок с вами; я именно запугал вас... Вас многое удивляло во мне, многое возмущало. Вы слишком нежное и молодое растение, еще только начинающее распускаться. Надо было бережно обходиться с вами, а я поступал с открытой искренностью и несдерживаемой прямоотой... Я верю в истину своих убеждений, верю в то, что они возьмут верх. Уверенность в вас у меня так глубока, что я не колебался даже в те минуты, когда вы... казалось, ненавидели меня, когда вы готовы были оторваться от меня.

...Не думаю, чтобы нужно было пояснять мои желания, мои стремления видеть вас настоящей женщиной. Причина страстной неотступности для вас ясна: я вас люблю“.

30 мая. „...Я в глуши, без писем, в неизвестности, я здесь измучился от тоски... Как бы хотелось мне вас видеть!.. Соберитесь сюда погулять... Это всего 6 часов езды от Женевы... Верую в вашу решимость и жду вас. ...Ради „дела“, ради всего того, что вы по-своему считаете святым, не отнеситесь к этому горячему желанию еще раз видеть вас с какой-нибудь скверной задней мыслью. Не много у меня светлых минут в жизни, прошлое мое бедно радостями. Не отравляйте же и теперь подозрением самое чистое, высокое, человеческое чувство“.

Но Тата была тверда. Она не только не любила Сергея Геннадиевича, но и вскоре, наблюдая за его деятельностью, перестала верить ему. „Ехать к Вам я и не думаю, — отвечала она на последнее письмо, — работать в одном деле с Вами никогда не буду. Видеться нам совсем не нужно, поезжайте в Англию, в Америку, живите там, пока Вас не забудут. Искренно желаю, чтоб Вы как можно скорее пришли к убеждению, что так относиться к людям, как Вы это делаете, невозможно, не возбуждая в них недоверия, которое легко переходит в негодование, или ненависть, или все это вместе“.

Пока Нечаев скрывался в горах и писал Тате отчаянные письма, Бакунин продолжал находиться в Локарно, испытывая страшное беспокойство по поводу отсутствия известий от своего Боя.

„Мой милый друг, — писал он ему 11 мая 1870 года, — что ж значит ваше молчание? Получили ли вы мои письма (от 2-го, от 4-го, от 6-го, от 9-го мая) и депеши (от 5-го, от 7-го)? Я их послал по указанному вами адресу. Если получили, зачем не отвечаете. Вообразите же себе, что я ничего не знаю и не понимаю. Отвечайте немедленно, прошу вас. Где вы? Что вы? Что дело? Что К-н? Где его обещанный ответ? И главное — зачем ассамблея?“

В этот момент Бакунин не знал, что Нечаева нет в Женеве. Известно ему было лишь из писем Огарева, что его срочно требуют в Женеву, где „переполох“, какие-то „ассамблеи“ и прочее.

„Когда же получу от вас объяснение ваших шарад и загадок? Какие у вас ассамблеи, зачем ассамблеи? Что решили? Где Бой? В Женеве или нет? В чем теперь дело и стоит или лежит оно? Что делает Тата? Что делаешь ты? Как относится ко всему Жуковский? Пиши ради Христа“, [428] — требовал он от Огарева.

Объяснить в письмах положение дел Огарев, очевидно, не мог. Бакунин же не мог ехать за отсутствием денег. Ведь он был не один. Для того чтобы везти семью, нуяшы были не только средства, но и заранее приготовленная квартира. Причем Антося требовала эту квартиру только в деревне. „Эта необходимость, — писал он Огареву, — объясняется главным образом известными тебе обстоятельствами“. „Ты видишь, сколько хлопот, — сетовал он в другом письме. — Где те времена, что взял мешочек и отправился из одного конца мира в другой!“[429]

В ожидании ответа и денег Бакунин буквально каждый день направлял запросы женеvским друзьям. „Если бы я был убежден, что действительно мое немедленное присутствие необходимо для спасения дела или жизни, или чести одного из вас, я бросил бы все и поехал...“[430]

Речь действительно шла о спасении и „дела“ и „чести“, и не одного из его друзей, а прежде всего самого Михаила Александровича.

В начале мая в Женеву приехал Герман Александрович Лопатин.

Это был известный революционер, обладавший безупречной репутацией мужественного и честного человека. Несмотря на свои 25 лет, он уже имел за плечами аресты, ссылки, побеги. В начале 1870 года он организовал бегство из вологодской ссылки Петра Лавровича Лаврова и вместе с ним приехал в Париж.

Из Парижа он отправился в Женеву, чтобы „уладить дело“ с Бакуниным и Нечаевым. К этому времени в русских революционных кругах опасная роль Нечаева определилась вполне. Провокационные действия его, как, например, составление списков лиц, участвовавших в студенческих кружках, оказавшихся затем в руках полиции, выкрадывание компрометирующих документов с целью держать в руках того или иного человека, упоминаемое выше письмо Любавину и многое другое, сделали его фигурой достаточно одиозной.

Лопатин прекрасно знал, сколь опасным может быть Нечаев, если он будет располагать письмами Любавина, он понимал также, что Бакунин не сможет быть причастен к махинациям своего временного соратника. С тем чтобы объяснить Бакунину истинное положение дел и добиться возвращения документов, находившихся у Бакунина и Нечаева, он и направился в Женеву. Сообщая потом Бакунину причину своего беспокойства за эти документы, Лопатин писал, что он слышал, что по поручению Нечаева кто-то угрожал Любавину „имеющимися у вас в руках его письмами... Мои приятели не могли представить мне серьезных доказательств, ...а передавали их только как достоверные слухи. Но, принимая во внимание: 1) вашу близость с Нечаевым; 2) оригинальное отношение Нечаева к собственности, позволяющее ему иногда класть в карман интересные письма, ключи и т. п. „полезные вещицы“, найденные им в отсутствие приятеля на его письменном столе... 3) принимая во внимание теоретические взгляды на революционную деятельность, развитые Нечаевым в разговорах с моими друзьями, а впоследствии и со мной самим; 4) и, наконец, его образ действий на практике, хорошо известный мне из достоверных сведений... — принимая во внимание все это, я не мог не согласиться, что опасения моих друзей имели за

собой некоторые основания“.[431]

Приезд в Женеву Лопатина и вызвал все те „ассамблеи“, о которых писал Огарев Бакунину.

Агенту III отделения П. Г. Горлову — человеку ловкому, готовому по аттестации собственного начальства „идти в Марсель так в Марсель, к Гарибальди так к Гарибальди“, удалось в это время проникнуть в среду революционной эмиграции Женевы.

В донесении, посланном в Петербург, он сообщал, что в первых числах мая прибыл сюда Герман Лопатин „с целью передать неизвестное мне поручение Бакунину и вообще посмотреть, насколько солидарна русская эмиграция“. Об „ассамблеях“, связанных с „неизвестным“ поручением, он не узнал, но на другом собрании, связанном с обсуждением протеста швейцарскому правительству против выдачи политических преступников, присутствовал.

„Собрание состоялось 7 мая 1870 года. На этой сходке присутствовали: бывшая жена Огарева, а теперь почему-то называющая себя женой Герцена, старшая и младшая дочери Герцена, m-me Озерова, русская, настоящей фамилии которой еще не знаю, Жуковский с женой, Элпидин, Гулевич, Мечников, Озеров, Огарев, Лопатин.

Из неэмигрантов один, называвший себя Романовым из Казани, и другой назывался Серебренниковым, и я. Бакунина в Женеве не было“.[432] Об этом собрании Огарев сообщил Бакунину тоже весьма туманно. „Вижу из твоего письма, — отвечал Бакунин, — что собрание было русское и всеобщее, эмиграционное, так как в нем участвовали Мечников и Гулевич, но зачем, по какому вопросу и какая нужда заставили... не знаю... Что делается, что задумывается у вас, ничего не знаю. Жду объяснений“.[433]

Приехал Бакунин между 15 и 20 мая и сразу же встретился с Лопатиным в присутствии появившегося для этой встречи Нечаева. Встреча была нелегкой. Занавес из лжи и мистификаций, много месяцев закрывавший Бакунину истинное положение дел, вдруг приподнялся.

Прежде всего Лопатин убедил Бакунина в том, что все прежние рассказы Нечаева о его побеге из Петропавловской крепости, об организации в России, о комитете, представителем которого он будто является, не более чем миф.

„Нечаев мог рассказывать все это Вам, живущим вне России, — говорил Лопатин, — но он не попытается повторить все это Вам в моем присутствии, зная очень хорошо, что мне известны все кружки, все люди и все отношения и факты в России. Вы видите, что он молчанием своим подтверждает истину всего того, что я говорю и об его бегстве, которого малейшие обстоятельства и подробности, как он сам знает, мне слишком хорошо известны, а также и об его друзьях и об его мнимом комитете“.[434]

Рассказал Лопатин и о том, как Нечаев „улаживал“ отношения Бакунина с Любавиным, послав последнему полное угрозы письмо от имени „комитета“. Копию этого письма и копию ответа Любавин прислал Лопатину в Женеву, с тем, однако, чтобы эти документы не были опубликованы. Лопатин ограничился тем, что показал их заинтересованным в деле лицам.

По просьбе Н. А. Герцен копии эти остались в ее архиве.

Узнав об истинном положении дел, Бакунин был потрясен. „Я не могу Вам выразить, мой милый друг, — писал он Нечаеву несколько дней спустя, — как мне было тяжело за Вас и за самого себя. Я не мог более сомневаться в истине слов Лопатина. Значит, Вы нам систематически лгали. Значит, все ваше дело проникло протухшей ложью, было основано на песке. Значит, ваш комитет — это Вы... Значит, все дело, которому Вы так всецело отдали свою жизнь, лопнуло, рассеялось, как дым, вследствие ложного глупого направления, вследствие вашей иезуитской системы, развратившей Вас самих и еще больше ваших друзей.

...Увлеченный верою в Вас, я отдал Вам свое имя и публично связал себя с Вашим делом... Веря в Вас безусловно в то время, как Вы меня систематически надували, я оказался круглым дураком — это горько и стыдно для человека моей опытности и моих лет — хуже этого, я испортил свое положенно в отношении к русскому и интернациональному делу“.[435]

Необходимость разрыва с Нечаевым стала очевидна. Но надо сказать, что не только поведение Нечаева, лишенное каких бы то ни было этических норм, убедило в этом Бакунина.

Итог второй пропагандистской кампании, развернутой Нечаевым в феврале — июне 1870 года, показал Михаилу Александровичу всю глубину их теоретических расхождений. Из новой серии прокламаций, брошюр и других изданий, рассчитанных на русскую аудиторию, Бакунин написал, по существу, лишь две: воззвание „К офицерам русской армии“, брошюру „Всесветный революционный союз социальной демократии. Русское отделение“. Брошюра же „Наука и насущное революционное дело“, выпущенная в феврале 1870 года, была написана им еще летом 1869 года. Здесь Бакунин продолжал развивать свои идеи о том, что наука в современном обществе не нужна народу, так как истинной науки правительство не допустит, а подтасованное просвещение только заразит народ „официально-общественным ядом“ и отвлечет от „единственного, ныне полезного и спасительного дела — от бунта“.

Изобразив положение народа, покритиковав его долготерпение, Бакунин обрушивается на главный источник всех бед — государство.

В целом как в данной брошюре, так в двух других, вышедших в это время, новых для Бакунина мыслей, по существу, нет. Но, пытаясь приспособить программу „Альянса“ к русским условиям, обосновать еще раз идею тайного общества, Бакунин не без влияния Нечаева проявляет крайнюю нетерпимость к противникам. Провозгласив полнейшую свободу и полное равенство всех людей, он заключает: „Кто за нее (за программу. — Н.П.), тот пойдет с нами и будет нам другом. Кто против нее — тот друг всех супостатов народных, царский жандарм, царский палач, наш враг... Кто не за нас, тот против нас. Выбирайте!“[436]

Основной вклад во второй пропагандистской кампании принадлежит Нечаеву. Им были выпущены листовки: „Что ж, братцы?“, „До громады“, „Мужикам и всем простым людям

работникам“, „Гой, ребята, люди русские“, „От русского революционного общества к женщинам“, „К русскому мещанству“, второй номер „Народной расправы“ и, наконец, совместно с Огаревым шесть номеров „Колокола“.

Сам план этой кампании — обращение к разным слоям русского общества и идеи общинного социализма, отразившиеся в ряде этих брошюр, — говорит об определенном влиянии Огарева или о совместном творчестве Нечаева с ним.

„Колокол“ — одно из удивительных изданий этой поры. Задуманный еще во время первой литературной кампании, он сразу же вызвал возражение Д. И. Герцена. „Колокол“ не возможен в направлении, которое ты и Бакунин приняли», [437] — написал он 30 июня 1869 года Огареву. Герцен выразился точно, Огарев и Бакунин именно «приняли» программу, сочинил же ее Нечаев.

В письме от 2 июня 1870 года Бакунин писал Нечаеву: «Против своего лучшего убеждения, я уговорил Огарева согласиться на издание „Колокола“ по выдуманной Вами дикой, невозможной программе».[438]

Программа же была просто либерально-конституционной и совершенно расплывчатой. Для определенных принципиальных воззрений Бакунина такое было недопустимо.

В подготовке как первого, так и последующих номеров он не принял никакого участия, а когда весной 1870 года «Колокол» появился, Бакунин писал Огареву и Нечаеву:

«Прочитав со вниманием первый номер возобновляемого вами „Колокола“, я остался в недоумении. Чего вы хотите? Ваше знамя какое? Ваши теоретические начала какие и в чем истинно состоит ваша последняя цель? Одним словом, какой организации желаете вы в будущем для России? Сколько я ни старался найти ответ на этот вопрос в строках и между строками вашего журнала, признаюсь со скорбью, что я ничего не нашел. Что вы такое? Социалисты или поборники эксплуатации народного труда? Друзья или враги государства? Федералисты или централизаторы?»[439]

Познакомившись с номерами нового «Колокола», которые кстати прислал ему Бакунин, Маркс писал Энгельсу: «Итак, „Колокол“ под руководством Бакунина станет еще великолепнее, чем при Герцене».[440] Но спустя три дня Маркс понял свою неточность. И мая 1870 года он исправил ее в новом письме к Энгельсу: «При ближайшем рассмотрении я увидел, что редактором является Огарев. Бакунин поместил в первых номерах только одно письмо, в котором разыгрывает постороннего, обвиняет редакцию в отсутствии принципов и т. п., рекламирует себя как социалиста и интернационалиста и т. п.».[441]

Пропагандистские брошюры, выходившие из-под пера Нечаева, к счастью для Бакунина, не предназначались для западного читателя, а сразу же переправлялись в Россию. Одним из любопытнейших произведений Нечаева, выпущенных в период второй пропагандистской кампании, стал второй номер «Издания Общества Народной расправы».

Бакунин теперь смог окончательно убедиться в полном несходстве своей анархической программы с предложенным Нечаевым образцом диктаторского режима.



В статье «Главные основы будущего общественного строя» Нечаев создал примитивную схему казарменного коммунизма. Тотчас после «низвержения существующих основ» Нечаев предлагал сосредоточить все «средства для существования общественного в руках нашего комитета» и объявить обязательную для всех физическую работу.

«В течение известного числа дней, назначенных для переворота и неизбежно последующей за ним сумятицы, каждый индивидум должен примкнуть к той или иной рабочей артели, по собственному выбору... Все оставшиеся отдельно и не примкнувшие к рабочим группам без уважительных причин не имеют права доступа ни в общественные столовые, ни в общественные спальни... одним словом, не примкнувшая без уважительных причин к артели личность остается без средств к существованию.

Для нее закрыты будут все дороги, все средства сообщения, остается только один выход — или к труду, или к смерти».[442]

Говоря далее о внутренней стороне трудовой жизни артели, Нечаев пишет, что за работой и ее качеством должен следить выборный из среды рабочих «оценщик». Все «оценщики» объединяются «конторой», которая «занимается регулированием хода работ, развитием деятельности и усовершенствованиями всей этой местности, будет ли то село или город».

«Контора заведует всеми общественными учреждениями (спальнями, столовыми, школами, больницами), общественными местными работами больших размеров, где участвуют поочередно все работники всех артелей...

Контора заведует воспитанием детей, для которых целесообразно устраивать особые здания... До наступления известного возраста, принятого в местности за норму, дети не принадлежат к артелям. Матери, желающие сами воспитывать своих детей, могут этим заниматься, но это не избавляет их от обязанности работать физически известное число часов в сутки. Вообще все работники по наступлении часа, в который оканчивается физический труд, могут заниматься чем угодно: отдыхать, гулять, быть в музеях, в библиотеках... быть в театре актером или зрителем, заниматься наукой или изобретениями и открытиями».

«Все юридические, сословные права, обязанности и институты, освященные религиозными бреднями, не имеют места при новом строе рабочей жизни. Мужчина и женщина... будучи производительным работником, могут быть свободны во всех отношениях... Отношения между полами совершенно свободные. При взаимном согласии мужчина и женщина живут вместе и расходятся, если не найдут это более удобным».

Мировоззрение всех членов общества, считает Нечаев, преобразуется радикально. Те же, кто не сможет это сделать, «должны погибнуть во дни переворота».

Идеальная, по Нечаеву, организация общества и в самом деле напоминает страницы Достоевского. «Первым делом понижается уровень образования, науки и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, не надо высших способностей!.. Не надо образования, довольно науки! И без науки хватит материалу на тысячу лет, но надо устроить послушание. В мире одного только недостает: послушания.

Жажда образования есть уже жажда аристократическая.

Чуть-чуть семейство или любовь, вот уже и желания собственности.

Мы уморим желания: мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство».[443]

Картина, созданная писателем, конечно, утрирована, но где-то по идее совпадает со стремлениями Нечаева.

Таким-то вот казарменно-тоталитарным вариантом коммунизма хотел увлечь Нечаев молодое поколение. Для большей убедительности, однако, он счел нужным снабдить статью совершенно фантастическим примечанием.

«Подробное теоретическое развитие наших главных положений желающие найдут в изданной нами статье „Манифест Коммунистической партии“.

Ссылка на „Манифест“ — еще одна очередная мистификация, еще одна попытка использовать чужой авторитет для поддержания своих поистине бредовых идей.

Каково же было в целом теоретическое кредо Нечаева?

Задачу свою и небольшой группы, по его мнению, настоящих революционеров он видел в том, чтобы „до конца разрушить этот поганый строй“. Все политические направления, будь то анархизм, либерализм или бланкизм, он готов был использовать в той мере, в какой они служили делу разрушения существующего строя. Принципиальность в вопросах политических, как и во всех других, была ему абсолютно чужда. Однако ясно одно: анархизм, особенно в своей положительной программе, менее всего импонировал Нечаеву. Не мог он принять и свойственное Бакунину уважение к народу и ко всем институтам народной жизни, так как не только не уважал народа, но и презирал его, считал, по существу, лишь объектом социальных экспериментов.

Характерна в этом отношении фраза, сказанная им однажды П. Успенскому: „Любить народ, это значит вести его на пулеметный огонь“;[444] характерны и планы социального переустройства народной жизни, представлявшие собой картину „казарменного коммунизма“ с железной диктатурой „нашего комитета“.

Итак, теоретическая и этическая несовместимость взглядов Бакунина и Нечаева, казалось, должна была быть ясной с самого начала. Но увы... для Бакунина эта ясность наступила лишь через полтора года тесного сотрудничества с человеком, совершенно чуждым ему по духу и взглядам.

Колоссальная ошибка, совершенная им, в какой-то мере могла быть объяснена его чрезмерной доверчивостью и большой долей наивности в отношениях с людьми, при полной уверенности в своей опытности, мудрости и даже хитрости. Сыграло здесь роль и его не удовлетворенное всю жизнь стремление в любой форме служить русскому делу. Причем

характерно, что этот сложный и многогранный человек, не лишенный порой определенных диктаторских замашек в кругу своих братьев по партии, готов был в интересах революционного дела играть любую подчиненную роль, идти, как он писал Герцену, „в барабанщики или даже в прохвосты“. Возможно, кажется нам, что вполне искренне писал он в свое время в „Исповеди“ о том, что у него мало честолюбия и что он охотно мог бы подчиниться каждому, „лишь бы только увидеть в нем способность, и средства, и твердую волю служить тем началам, в которые я верил... как в абсолютную истину; и с радостью последовал бы ему и ревностно стал бы повиноваться, потому что всегда любил и уважал дисциплину, когда она основана на убеждение и вере“.[445]

„Способности, средства, твердую волю“ — все это он увидел в Нечаеве. Увидел он и то, чего совсем не было, — общность теоретических воззрений. Произошло это потому, что в первый свой приезд Нечаев скрывал свою беспринципность в этих вопросах, ловко оперируя понятиями, взятыми им из бакунинских программ.

Еще до опубликования второго номера „Народной расправы“, поняв существенную разность взглядов Нечаева со своей программой, Бакунин решил еще раз попробовать убедить своего недавнего соратника, изложив ему основы своих взглядов на народный характер предстоящей революции. Мысли эти пронизывают все работы Бакунина. Но в письме от 2 июня 1870 года звучат и новые для него идеи, здесь ставится вопрос о необходимости тщательной подготовки революции. „Тайные общества“ революционеров, пишет Бакунин, „должны прежде всего отказаться от всякой нервозности, от всякого нетерпения“; они „должны быть заложены и организованы не в видах близкого восстания, а с целью продолжительной и терпеливой работы“.[446]

Народ, включающий в себя в качестве возбуждающего фермента и „разбойный мир“, — есть армия революции. Штаб же ее, считает Бакунин, должен состоять из разночинной интеллигенции. „Семинаристы, крестьянские и мещанские дети, дети мелких чиновников и разоренных дворян... Но этот мир надо действительно организовать и морализировать. Вы же, — обращается он к Нечаеву, — своею системою его развращаете и готовите в нем себе изменников, народу же эксплуататоров“.

Здесь сталкиваются проблема нравственности, вставшая во весь рост перед Бакуниным, и проблема использования „темных элементов народной жизни“. „Как же морализировать этот мир?“ — ставит вопрос Бакунин и тут же отвечает на него: „Возбуждая в нем прямо сознательно и укрепляя в его уме и сердце единую, всепоглощающую страсть всенародного общечеловеческого освобождения. Это новая, единственная религия, силою которой можно шевелить души и создавать спасительную коллективную силу. Таково должно быть отныне единственное содержание нашей пропаганды. Ближайшая цель ее — создание тайной организации, организации, которая должна в одно и то же время создать народно-вспомогательную силу и сделаться практическою школою нравственного воспитания для всех членов...“.[447]

Утопизм и даже просто наивность планов Бакунина, направленных на то, чтобы морализовать „этот мир“, очевидны, однако интересно то значение, которое он придает вопросу нравственного воспитания. Безусловно, что опыт нечаевщины заставил его глубже

задуматься над этой проблемой и включить подобные требования в свой новый проект программы тайного общества, который он предлагал принять Нечаеву. Ибо, несмотря ни на что, еще не потерял надежды обратить его на путь истинный.

Изложив свои программные и этические требования, Бакунин в конце письма еще раз поставил условием Нечаеву прежде всего полную искренность, отказ от „полицейско-иезуитской системы“, отказ от нелепой мысли, „что можно совершить революцию вне народа и без участия народа“, принятие „социально-революционной программы, изложенной в первом номере „Народного дела“, и плана организации и революционной пропаганды“, изложенной в письме. В случае согласия Нечаева Бакунин предлагал установить „новую крепкую связь“, создать „заграничное бюро для ведения без исключения всех русских дел за границей“, издавать „Колокол“ с явною революционно-социалистическою программой».

9 июня, закончив письмо, Бакунин направил его Огареву, Озерову, С. Серебренникову и Н. А. Герцен с просьбой снять и сохранить копию, а затем передать Барону (Нечаеву). Копия с письма была снята Натальей Александровной. Еще при жизни отца она ведала его деловой перепиской. Ее моральный авторитет был настолько велик, что не раз к ней обращались деятели революционной эмиграции с просьбой выступить в роли арбитра при тех или иных сложных обстоятельствах, снять и сохранить копии тех или других важных писем. Именно благодаря ее деятельности многие документы были сохранены и с недавнего времени стали достоянием общественности.

Надежда Бакунина на возможное перерождение Нечаева поразила Наталью Александровну. «Как Вы можете еще думать, — писала она Бакунину, — о возможности работать с ним (Нечаевым) после всего, что произошло между вами, после всего, что Вы сами рассказали в своем письме к Нечаеву? На чем будет основываться Ваше доверие? А если этого доверия не будет, как Вы будете работать с ним? Как Вы узнаете [...], что он Вас не обманывает тайно, как он это делал во время ваших взаимоотношений? Для меня это было бы совершенно невозможным».[448]

Но Михаил Александрович, твердо решивший сделать еще одну попытку союза с Нечаевым, попробовал в следующем письме своим друзьям от 20 июня 1870 года обосновать необходимость подобного шага. «Соборное послание Огареву, Тате, Озерову и Серебренникову, а если [...] привлечен к вашему собору, то также [...]» — так назывался этот документ, представляющий особый, в том числе и психологический, интерес.

Письмо свидетельствует о большом уважении Бакунина к тем качествам Нечаева, которые он считал его достоинствами, о стремлении объяснить себе и другим его недостатки, понять и в какой-то мере оправдать их, об огромном желании во что бы то ни стало убедить друзей в необходимости дальнейшего сотрудничества с Бароном на новых, высказанных ранее условиях.

Кажется, что пыл, с которым обличал Бакунин Нечаева в письме от 2 июня, поостыл. Он как бы вновь обдумал все, игнорируя личную горечь и обиду, попытался представить «объективно» эту фигуру, хорошо уже известную его друзьям.

«Друг наш Барон, — пишет он, — отнюдь не добродетелен и не гладок, напротив, он очень шероховат, и возиться с ним нелегко. Но зато у него есть огромное преимущество: он предается и весь отдается, другие дилетантствуют, он чернорабочий, другие белоперчаточники; он делает, другие болтают; он есть, других нет; его можно крепко ухватить и крепко держать за какой-нибудь угол, другие так гладки, что непременно выскользнут из ваших [рук]; зато другие люди в высшей степени приятные, а он человек совсем неприятный. Несмотря на то, я предпочитаю Барона всем другим и больше люблю, и больше уважаю его, чем других».[449]

Далее Бакунин пытается воссоздать картину того, как Нечаев дошел до своей иезуитской системы, анализирует его ошибки и в заключение пишет: «Возврат для Барона труден, но не невозможен. А так как он человек драгоценный, и лучше, и чище, и преданнее, и деятельнее, и полезнее нас всех, вместе взятых, то, оставив все мелкие и самолюбивые движения своей души, все личные чувства и обиды в стороне — я говорю это особенно для Вас, Тата, — мы должны дружно соединить свои силы для того, чтобы помочь ему выкарабкаться из омута и дать ему возможность на основании взаимной правды, веры и совершенной прозрачности стать в наши ряды, впереди наших рядов — потому что он все-таки будет самым неутомимым и беспощадно деятельным между нами».[450]

Вскоре всем призрачным надеждам Бакунина был положен конец. 2 июля Михаил Александрович приехал в Женеву для личных объяснений с Нечаевым. В переговорах участвовал Огарев. Бакунин изложил все претензии, в том числе выразил свое возмущение по поводу документов, которые были украдены у него незадолго до этого Владимиром Серебренниковым — адептом Нечаева.

«Ну, да! Это наша система, — отвечал Нечаев, — мы считаем как бы врагами и мы ставим себе в обязанность обманывать, компрометировать всех, кто не идет с нами вполне... Мы очень благодарны за все, что вы для нас сделали, но так как вы никогда не хотели отдаться нам совсем, говоря, что у вас есть интернац. обязательства, мы хотели заручиться против вас на всякий случай. Для этого я считал себя вправе красть ваши письма и считал себя обязанным сеять раздор между вами, потому что для нас не выгодно, что, помимо нас, кроме нас, существовала такая крепкая связь».[451]

Как видно из этих слов, весь пафос убеждений Бакунина прошел даром. Нечаев не внял ни одному его совету и продолжал с упорством отстаивать свою «систему». Держась весьма агрессивно и бесцеремонно, он потребовал от Огарева выдачи остатка второй части Бахметьевского фонда (740,5 франка).

Вот как описывает Н. Герцен в своем дневнике дебаты по этому вопросу:

“ «Они спорили без перерыва до вечера. К семи часам вечера явился Владимир Серебренников и вручил записку Нечаева, где было сказано, что [нам] необходимо объясниться. Вла[димир] Сереб[ренников] не хотел верить тому, что меня не было дома и что я только что выходила с Сашей

Рейхель. В десять часов вечера прибежал Быстров с запиской Бакунина, который опасался за меня, советовал мне уехать на несколько дней и передать остаток фонда Огареву. Быстров остался на некоторое время с намерением прийти на помощь в случае надобности, т. е. если Н[ечаев], Владимир Серебренников и Шарль попытаются силой войти, но никто не пришел [...]. [На другой день] Огарев пришел к часу, несмотря на ужасную жару в 33 градуса. Бедняга очень опасался за меня и боялся, как бы Нечаев со мной грубо не обошелся. Бедный Ага, сколько раз он должен был быть разочарован своими „детьми“. Он взял фонд, т. е. остаток в 740 фр. 50. Он вручил мне квитанцию на тот случай, если Нечаев и Влад[имир] Серебренников пришли бы требовать [деньги], затем пошел вручить ее банкиру Ревердену с Семеном Серебренниковым».[452]

Ни о чем не договорившись, Бакунин и Огарев, с одной стороны, Нечаев и Вл. Серебренников — с другой, расстались, однако, внешне мирно. У каждой стороны был здесь свой расчет: Нечаев хотел использовать знакомства и связи Бакунина в Лондоне и Париже, Бакунин же хотел выиграть время, чтобы тем или иным путем получить обратно бумаги, украденные у него В. Серебренниковым и Нечаевым. Однако тут же он счел нужным предупредить своих друзей и прежде всего Таландье и Мрочковского об опасности, которую представляет собой Нечаев.

«Он обманул доверие всех нас, он похитил наши письма, он нас страшно скомпрометировал, одним словом, он вел себя как негодяй. Единственным извинением может послужить его фанатизм. Он страшный честолобец... так как в конце концов вполне отождествил революционное дело с своею собственною особой... Это фанатик, а фанатизм увлекает его до превращения в совершенного иезуита... Он играет в иезуитизм, как другие играют в революцию. Несмотря на эту относительную наивность, он весьма опасен, т. к. ежедневно совершает акты нарушения доверия, предательства, от которых тем труднее уберечься, что трудно заподозрить их возможность».[453]

Тактика Бакунина вскоре стала ясна Нечаеву. 1 августа 1870 года Бакунин и Огарев получили следующую записку:

«Отчего при расставании, целуя меня как Иуда, вы не сказали мне, что будете писать вашим знакомым. Последнее письмо ваше к Таландье и предупреждение Гильома об опасности участвовать в деле, которого вы всегда были инициаторами в теории, суть самые бесчестные и самые подлые поступки, вызванные мелкой злобой. Вы наперекор всякому здравому смыслу и выгоде дела непременно хотите упасть в грязь. Так падайте! До свидания».

На следующий день, пересылая записку Огареву и Тате, Бакунин писал: «Вот, друг Ага, записка „нашего Боя“. Я получил ее вчера вечером и посылаю ее тебе сегодня, торопясь тебя порадовать после того, как порадовался сам. Ничего не скажешь, мы были глупцами, и если бы жив был Герцен, как он посмеялся бы над нами, и он был бы прав нас ругать! Нечего делать, проглотим эту горькую пилюлю и будем умнее в будущем».[454]

«Как нравится Вам эта записочка? — обращался Бакунин к Тате. — Фанатик наш в своем более или менее искреннем изуверстве превосходит даже Робер-Макера, а я начинаю сомневаться даже в искренности его изуверства, и нам всем, и мне более всех остается покрыть голову пеплом и с горем воскликнуть: мы были круглыми дураками! Впредь наука — жаль, что старость приходит и что немного лет остается для того, чтобы пользоваться наукой».[455]

Так закончилась для Бакунина нечаевская эпопея. Сам же Нечаев еще около двух лет прожил в Западной Европе.

Одиноким, без средств и почти без связей, всюду преследуемый полицией, он кочевал из страны в страну, из города в город. До самого ареста не порвал отношений с ним, по существу, лишь один человек — Владимир Серебренников. «Товарищ и спутник Нечаева, откровенный негодяй, меднолобый лжец, не оправданный фанатизмом» — так определил его Бакунин.

От своих иезуитских приемов, от своей привязанности к шантажу и мистификациям Нечаев не отказался, украденных бумаг и писем никому не вернул.[456] Осенью 1872 года он был выдан провокатором и схвачен швейцарской полицией.

2 ноября 1872 года Бакунин писал Огареву: «Итак, старый друг, неслыханное совершилось. Несчастливого Нечаева республика выдала... Не знаю, как тебе, а мне страшно жаль его. Никто не сделал мне, и сделал намеренно, столько зла, а все-таки мне его жаль. Он был человек редкой энергии, и, когда мы с тобой его встретили, в нем горело яркое пламя любви к нашему забитому народу, в нем была настоящая боль по нашей исторической беде. Он тогда был еще неопрятен снаружи, но внутри не был грязен. Генеральствование, самодурство, встретившееся в нем самым несчастным образом и благодаря его невежеству с методою так называемого макиавеллизма и иезуитизма, повергли его окончательно в грязь».[457] Тут же он высказывал уверенность в том, что, погибая, Нечаев будет вести себя как герой «и на этот раз ничему и никому не изменит».

Бакунин оказался прав. Как на процессе, так и в Алексеевском равелине вел Нечаев себя стойко и мужественно. Причем ему удалось то, что ни до, ни после него никто из узников равелина совершить не мог. Прибегая к той же мистификации, он смог распропагандировать всю свою охрану, установить связь с новой революционной партией — «Народной волей».

«Он писал, как революционер, только что выбывший из строя, пишет товарищам, еще оставшимся на свободе, — говорила В. Фигнер о том впечатлении, которое произвело на народовольцев первое письмо Нечаева. — ...Исчезло все, темным пятном лежавшее на личности Нечаева, вся та ложь, которая окутывала революционный образ Нечаева. Оставался разум, не померкший в долголетнем одиночестве застенка, оставалась воля, не согнутая всей тяжестью обрушившейся кары; энергия, не разбитая всеми неудачами жизни».[458]

Умер Нечаев 21 ноября 1882 года, после десятилетнего заключения в крепости.

---

Версия #1

Зверобой создал 30 мая 2025 06:59:02

Зверобой обновил 30 мая 2025 07:01:29